

Непростое это дело — жить в тесном, постоянном соседстве с хозяевами леса — медведями. Тем более, если в лесу их великое множество. Вот сидит на лесной завалинке мохнатый и лохматый зверюга, думает свою какую-то думу, а ты идёшь мимо, отвлекаешь от радостных, может быть, мыслей и посматриваешь на него с опаской: осерчает вдруг Михайло Потапыч, да и тяпнет тебя ненароком громадной лапищей, неизвестно ведь, что в его лесной голове происходит. Существует вполне обоснованное опасение, что встреча его с тобой будет не вполне ему радостна... Хотя тут надо сказать пару слов в его защиту: за всю историю существования поморской деревни Лопшеньга никто не помнит ни одного случая агрессии против деревенских жителей с медвежьей стороны.

Оговорку надо всё же сделать: один случай — именно один — приключился лет тридцать назад. Но этот случай спровоцировали люди, а не медведь. Причём, люди подлые.

Дело было так. Стояла осень — время самой активной кормёжки медведей перед зимней спячкой. Им надо накопить толстенький слой жира, чтобы в комфортных условиях провести зиму в берлоге. Поэтому медведи идут на всякие авантюры, чтобы где-то подкормиться в предзимье. Два медведя повадились приходить на деревенскую сальницу — крепкое деревянное здание, стоящее на самом краю деревни — место засолки и хранения тюленьих шкур. Там всегда мишки пользовались дармовщинкой: на каждой шкуре обязательно имелся толстый слой тюленьего сала, медвежьего лакомства. Медведи приходили и всякий раз громили дверь, утаскивали куда-нибудь в кусты одну — две шкуры. Колхоз из-за такого варварства нёс большие убытки, с медведями пытались бороться: укрепляли выломанные двери, обивали их железом, крепили стальные стяги, меняли замки... После очередного погрома всякий раз приходил кто-нибудь из колхозного

правления, матюкался и, щупая вырванные с корнем стальные полосы и искорёженные замки, всегда поражался медвежьей силушке:

— Надо же, бляха-муха, не приведи Господь такого встренуть где!

Про эти вот медвежьи бесчинства прослышали в милицейском областном ведомстве и, видно, решили: чего тут голову ломать, медведи все равно придут к охотникам, нет нужды за ними по лесу бегать! А врученные Областным охотничьим хозяйством лицензии надо как-то реализовать. И главные милицейские начальники приняли очень «умное» решение — надо ехать к той сальнице, да и отстрелять медведя прямо там, на месте!

Приехали. Залезли на крышу, дождались двух медведей и открыли пальбу. Стреляли в упор из нарезных винтовок. Одного убили, другой, сильно подраненный, ушёл в лес. И, как назло: на следующее утро именно в этот лес пошла по грибы деревенская женщина с сыном-подростком и вышла прямоком того на медведя. Лежащий в кустах и истекающий кровью ушкой напал на людей и крепко поранил обоих.

Подлость горе-охотников заключалась в том, что они никого не предупредили, в том числе и пострадавших мать с сыном, и даже не пытались добрать раненого зверя, а быстренько собрали манатки и улетели в город на пассажирском «кукурузнике», рейс которого был в то же утро. Что-что, а с милицейско-полицейским руко-

водством такое случалось и в другие времена.

Вообще, у деревни с медведями исторически сложились непростые отношения. Поначалу Лопшеньга стояла в другом месте, не там, где сейчас, а на речном обрыве в лесной гуще, недалеко от впадения нашей реки в Белое море. Потом, века три назад, переселилась она прямоком на морской берег и раскинулась во всей красе вдоль моря. Я спрашивал у стариков, отчего потребовалось деревне уходить от реки, где чистойшая вода, речная, озёрная и морская рыба, в том числе сёмга? Ведь пришлось покинуть всегда свежую, проточную воду и осваивать новое занятие — рыть колодцы, искать подземные источники? Ответ прозвучал простой и удручающий одновременно: деревня не смогла больше жить на краю леса, Лопшеньгу «одолели медведи». Людей бурые ушки не трогали, а вот домашнюю скотину прямо таки затерроризировали. Выгон её на пастбища стал невозможным: медведи загрызли всех коров, почти всех лошадей и овец и деревенские мужики нечего не могли противопоставить такой оголтелости. Справных ружей тогда не было. А медведи действовали нагло и беспощадно. Вот и пришлось селянам покинуть обжитые жилища и переселяться на места открытые, подальше от леса, ближе к морю. Зато Лопшеньга стоит теперь, красуется рядом с морским простором, раскинув вдоль берега хоровод разукрашенных домов.

Я с раннего детства, наслушавшись рассказов и сказок бабушки Агафьи про то, как «медведки утаскивают в берлоги озорных парнишков, которые непослушничают перед родной бабкой, да перед своим батюком с маткой, да огуदानами растут» (всегда не хотелось мне узнавать среди этих «огуданов» себя), с великой опаской заходил в наши леса, да и то — держась рядышком с родителями. Всё боялся я, что из-за какого-нибудь куста высунется громадная медвежья морда и потянет меня в берлогу, а там и «смякает». И помру я за непонюх табуку.

Эти морды медвежьей я потом, обретая в поморских лесах, видал неоднократно, только ни одна из них не удосужилась куда-нибудь меня утянуть, наоборот, убегала стремглав, что было медвежьих ног. И я вполне уверовал, что хвалёные эти медведи сами меня боятся как огня, и совсем перестал опасаться их. Пересекаешь какое-нибудь поле или поляну и лицезрешь, как на краю его мирно пасётся здоровенный ушкуй. Он тебя прекрасно видит, но редко убегает, а, как правило, поднимет голову, поймёт, что я прохожу мимо, и спокойно продолжает своё дело — ковыряется в земле.

Только вот однажды возвращались мы с приятелем с форелевой рыбалки на таёжной речке, шли через лес. И уже вечерело, стоял конец августа. Мы поспешали, потому как опасались за вечерять и попасть в предосеннюю темень. Мне пришлось искать капкан

на куницу, оставленный в лесу отцом ещё в конце давно минувшей зимы. Пришлось отклониться от тропы в сторону метров на двести. Капкан на нижних ветвях высокой ёлки я быстро нашёл и стоял под этой елью, откручивал проволоку от сука с закреплённым на ней капканом.

Вдруг услышал я некий шорох неподалёку от моего дерева. Повернул голову на тот звук и увидал здорового медведя, стоявшего всего метрах в десяти от меня. Меня поразило то, что мишка не удрал от человека, он ведь не подпускает людей на столь близкие расстояния. А тут он стоял ко мне боком, рассматривал меня и никуда не убегал. Мне стало страшновато: такого наглого медвежьего поведения я ещё не встречал.

— Эй, — сказал я громко, но дрогнувшим голосом, — ну-ка линяй-ка отседава!

Медведь и не пошевелился, а только вдруг заворчал спокойно, но грозно. И всё глядел на меня, глядел...

Я сообразил: мне надо бы немедля сматывать удочки и удирать отсюда как можно поскорее. Но удирать оказалось невозможно: всем известно, что у хищных зверей есть инстинкт преследования того, кто от них убегает. Меня бы медведь мгновенно догнал... Деваться было некуда, и я в течение нескольких секунд заполз на дерево, под которым стоял. Дополз до вершины, маленько осмелел и стал ругать зверя самыми страшными словами, которые знал.

А ушкуй всё также глядел на меня

и только начал вдруг ворчать. Вот это меня уже всерьёз перепугало: я понял, что рассердил зверюгу, а взбешённый медведь готов на страшные вещи. Например, он мог вполне залезть на дерево и стащить меня оттуда... Не приведи, Господи!

В общем, я сидел на дереве и орал что было мочи.

Мне повезло: истошные мои звуки услышала наша лайка Ветка, которая, как всегда, гоняла какого-нибудь зайца и прибежала на мой крик. Подбежав к дереву, она обнаружила сердитого медведя и меня, своего хозяина, загнанного на дерево. Ветка подняла грозный лай на бурого нахала, и тот не стал ждать неприятностей, а быстро убрёл куда-то в лес. Медведи боятся лаек, они знают: рядом с этой собакой всегда ходит охотник с ружьём. А ещё лайки, когда их несколько, окружают медведя и стараются вцепиться ему в гениталии, и медведи это укромное местечко тщательно берегут от собачьих зубов.

Как же я потом благодарил верную собаку Ветку, как обнимал!

Чего хотел от меня тот медведь, я так и не понял. Может, это была медведица, а медвежата её паслись где-то поблизости?

Медведи, если долго находятся рядом с человеком, привыкают к нему, и между ними может возникнуть взаимная симпатия и даже доверие. Вот пример из поморской жизни. На рыбацкой тоне, где местные мужички промышляли не только сёмгу, но и тюленя: нерпу и морского зай-

ца-лахтака, между медведями и рыбаками установились именно такие отношения: ровно в тот час, когда промысловикам надо было выходить в море и проверять юнды — снасти, в которые ловят тюленей, медведь или два выходили из леса и на глазах рыбаков ложились в прибрежных кустах и, терпеливо наблюдая за карбасами, ждали их возвращения. Карбасы подходили к берегу, мужики выносили пойманных тюленей и укладывали их на специальном стеллаже, всегда лежащем на берегу, освежёвывали их на глазах медведей, терпеливо ждущих своей очереди, и относили нерпичьи тушки к медведям, бросали к их мордам. Сейчас это выглядит маловероятным, но так было. Мне это рассказывали люди, которым я доверяю.

Если их не трогать, медведи наглют, поэтому нельзя позволять, чтобы они чувствовали абсолютную свободу. Например, в прошлом году они обнаглели настолько, что стали чинить беспредел: свободно разгуливали по деревне, гонялись за собаками, которым вздумалось на них лаять... Им понравился свежий запах хлеба, источаемый деревенской пекарней, и наглые мишки предприняли атаку на пекарню: подломили стену, раскурочили дверь... Убредли только, когда изумлённый таким варварством сосед пекарни открыл пальбу из дробовика в воздух. И это в центре деревни.

Мой всегда дружелюбный и мирный брат Александр смиренно выхо-

дил, распаренный и разомлевший, из баньки, стоящей напротив крылечка нашего дома. Расстояние от бани до крыльца — метров двенадцать. Сделав пару-тройку шагов, брат услышал некий шум, доносящийся из придомового палисадника. Глянув туда, Саша обомлел: под рябинкой, растущей прямо под окнами дома, кстати, посаженной ещё в юности вашим покорным слугой, копался здоровенный медведяра и ворчал, и фырчал, был чем-то недоволен. Брат мой, немало удивлённый такой наглостью, подошёл к нему и громко вскрикнул. Медведь от неожиданности продемонстрировал пароксизм медвежьей болезни: испустил вонючую струю и умчался прочь, сломав при этом два забора.

Опасные для людей такие вольные похождения обнаглевшего зверья пришлось всё же прекратить, потому как жители деревни начали бояться выходить на улицу в страхе столкнуться лоб в лоб с лесным громилой. И этот страх был реальным. Завершились они осенью, когда на краю деревни их встретили двое охотников с карабинами и подстрелили двоих медведей. Больше желающих пугать деревенских жителей среди медведей прошлой осенью не нашлось. Посмотрим, что будет предстоящей весной, когда закончится зимняя спячка.

Хотелось бы в конце очерка предостеречь уважаемых читателей от представления о медведях, как о существах сугубо добрых, и, следовательно, их не следует остерегаться,

или же наоборот, полагать, что они страшно злые и жестокие зверюги. Неправы и те, и другие. Медведи — существа из другого, мало понятного для человека мира зверей и птиц. Рядовой человек не знает этот мир, не понимает его, и человеку не следует навязывать лесным обитателям, в том числе и медведям, присущие людям порядки. Грубым и неумелым вмешательством в природу человек многое коверкает, поганит, портит. Надо оставить в покое исконных жителей лесов, полей и гор. Пусть они живут, как им нравится, как жили всегда. Но и зверям, и пресмыкающимся, и птицам нельзя позволять вторгаться в мир людей. Они всё равно в нём не приживутся, только навредят сами себе и человеку. Пусть все живут в привычном мире. Тогда, может быть, и установится на Земле гармония.

Беспалый

Ох и медведя развелось в этом году, ох и развелось! И откуда их столько взялось в один-то год? Сбежались с других мест, что ли? Как клопы, например. Их в одном доме дустом посыплешь, они в другой кидаются и кусаются, изголодавшиеся по свежей кровушке, с ещё большим остервенением.

А может, просто год такой урожайный на медведя выдался? Бывают же года урожайные на морковь, на клубнику. Почему же не может быть на медведя? Трёх коров задрали, шутка сказать! Вроде и меры предпри-

нимали всякие: перестали выгонять бурёнок на дальние летние пастбища, на старые пожни, стали держать их в прилесках да кулигах, навязали им на шею колоколец, чтобы отпугивали медвежью братию. Теперь не стадо — колокольный оркестр, сопровождаемый мычаньем. Пастушьего матюга уже не слышно — всё перебивает разноголосье бубенцов.

И что бы вы думали?! Не помогло. Только оплошает какая-нибудь рогатая Ласточка или Певунья, сунется в клеверный травостой, впадающий углом в лес, и пожалуйста — из-за куста на неё вываливается громадный и могучий хозяин леса. Только бубенчик последний раз звякнет — и всё, нет коровёнки!

А уж в лесу самом — и говорить нечего — сплошные страхи. Особенно под осень, когда пошла, повалила ягода, грибы да прочая благодать. Народ хлынул в чащу за таёжными дарами с кузовами, с пестерями. И нате вам! То тут, то там — следы медведя, помёт, а то и сама морда лохматая из-за дерева высунется. Тогда крику, визгу — не приведи господи! Баба в одну сторону, мишка в другую — неизвестно кто кого больше испугался.

Давно известно: когда воскликнет русская женщина, в панике ретируется любое цивилизованное существо. Чего уж говорить о неподготовленном и тёмном лесном обитателе. А уж рассказов потом, рассказов, да приврут ещё...

Баба Калинична кудахтала в деревенском магазине:

— Ой, женочки, вот беда-та, ведь чуть меня ушкой-от не заломал, анчехрист.

Была бабка худа до крайности, низкоросла и костиста, и народ поэтому сомневался:

— Нужна ты ему очень, Аграфена Калинична, он бы кого помасластей избрал для продовольствия.

Но Калинична шуток не воспринимала (видимо, и впрямь перенесла серьёзную стычку с зубастым лесным хищником), рассказывала:

— За малиной вчера пошла, женочки, в Бревенник. В куст-от залезла, копошусь в ём, а малин-та ядрёншша, хорошашша, страсть! Увлеклася я, ягоды кладу да кладу в тусок. Потомагды слышу, о! Кто-то в кусту-то, с другой-от стороны, шамкат. А я вниманья-то не обращаю, думаю, Васька Беляев, хто ешшо, — он наемдни собирался в Бревенник-от, кладу да кладу ягодки, ем да ем.

Тут Калинична заговорила вкрадчиво, глаза зазыркали по сторонам. Народ в очереди замер, приготовился к кровавой развязке.

— А Васька-то всё ко мне да ко мне, ближе да ближе... Думаю, чичас физию высунет, дак и поздоровкаюсь с им.

И бабка замолчала, поправила платочек. Народ взвыл, народ желал кульминации. Все понимали уже, что «физия» будет не Васьки Беляева. И Калинична всё сделала, как надо. Она переложила матерчатую авоську на локоток, выставила вперёд, как страшные когти, сухонькие пальчики

и продолжила с леденящей душу интонацией, причём жуть в этой интонации нарастала с каждым словом.

— Ну он и высунул мордю-то свою, змееватик! Высунул — и смотрит на меня, глазами хлопат. Рыло — во! — Калинична расставила руки во всю ширину. — Приблизилось сперва-та — леший-батюшка, а перекреститься не могу — руки отнялись. Нет, женочки, гляжу: у того-та, у лешака-та, физия человеческа должна быть, так кто видел, дак бают, а тут-та — эко шерсти-та, ведмедь, гляжу. Я ка-ак завижжу, женочки, — и Калинична в этом месте действительно звонко взвизгнула, отчего все ещё больше напугались, и кто-то нервно хохотнул. — А он, радемой-от, как взялся на задни лапы-то, думала — вот смертушка-та мне и встренулась.

Бабка замолчала, мелко перекрестилась, встревоженный за неё народ стал интересоваться:

— Не тяпнул он тебя, Калинична?

Хотя народ, конечно, понимал, что если бы это произошло, то беседа эта вряд ли бы состоялась, и на бабке были бы надеты не сандалеты, как сейчас, а, скорее всего, тапочки белого цвета.

— Не-е, гляжу, а уж и нету его, паразитика, только в лесу стрешшало...

Феофан Павловский в этом году работал на сальнице. Что такое сальница? Это внушительных размеров сарай, в котором принималась и об-

рабатывалась добытая рыбаками на тонях нерпа, морской заяц-лахтак, а когда и белуха — маленький бело-морский кит.

Но белуху специально не ловили, она сама иногда заскакивала в погоне за селёдкой в тайники ставных сельдяных неводо́в.

Сальница стояла на морском берегу сразу за деревней. В деревне её ставить нельзя было: обработка морского зверя — дело вонючее, тяжёлый приторный запах всегда стоял вокруг сальницы плотной стеной.

Феофан нанялся на эту работу поневоле. Ещё в начале лета крепко приболела жена Зинаида, куда тут деваться, пришлось отказаться от сельдяной и семужьей путины и быть возле неё. Председатель в ситуацию вошёл, сказал: «Бери сальницу», — оказал таким вот образом доверие. В общем, всё бы ничего, и Феофан не чуждался никакой работы — это подтвердит каждый, но здесь — больно уж замарашиста. Идёшь по берегу домой и чувствуешь сам — воняет от тебя, как от раука — нерпичьей тушки. Но переболеет Зинаида, поднимется в конце концов — женщина крепкая — и тогда снова — вольный воздух дальних тонь, весёлый и дикий морской берег, серебряная семужка... В общем, он верил во временность нового занятия и не унывал.

Медведи добрались и до его сальницы. Несколько раз, придя утром на работу, он замечал их следы со стороны, противоположенной де-

ревне. «Принюхиваются, заразы», — отмечал про себя Феофан. Известное дело, морской зверь — обычное для мишек лакомство. Феофан, хоть и не был путним, как говорили старики, то есть хорошим охотником, но в следах разбирался неплохо, как мог, следил за медвежьей суетой около сальницы.

Вот медведь лежал ночью за кустом, лёжка тут его, значит, наблюдал, выслеживал: нет ли опасности? Вот подходил к заплётку, нашёл вымытые из воды старые нерпичьи кости, погрыз их.

Дальше следы вели прямо к дверям, медведь здесь долго топтался, нюхал, наверное, воздух, тянущийся из пазов. Ага, вот царапины, да как высоко-то, напротив его лица, значит, вставал на задние лапы, скрёб дверь когтями. Особенно впечатляли размеры следов — огромные круглые, как тарелки, когти, словно толстые проволочные крючки, глубоко увязали в сыром песке.

«Ну и медведяра!» — думал Феофан, и ему становилось маленько жутковато, потому что приходил он на работу с самого ранья, когда по берегу ещё не ходили люди. Выйдет вот сейчас такой громила волосатый из-за куста, и привет вам всем — моргнуть не успеешь, как скальп снимет. Оттого не испытывал Феофан большой радости от мысли, что медведи заинтересовались сальницей, ничего хорошего ждать от этого не приходилось.

Так и вышло. Через пару дней утром замок оказался сорван, вер-

нее сказать, вырван вместе с петлями и валялся под дверью, будто его зацепили и рванули трактором. Песок был весь в медвежьих следах и утрамбован до плотности грунта. Видно, косолапому пришлось долго-долго повозиться с замком.

Феофан вошёл в распахнутую дверь с опаской: вдруг зверь не убрался ещё из сальницы, затаился, ждёт его? Но медведя не наблюдалось, зато не хватало двух свежих нерпичьих шкур из четырёх, что вчера только вечером сдали рыбаки. Остатки одной, правда, валялись на затоптанном жирном полу — огрызки кожи с выеденным салом, которое толстым слоем облегалo каждую нерпичью шкуру. Другая шкура исчезла вовсе. Уволок, бандюга лесной.

Прибывший на место происшествия бригадир Мищихин долго разглядывал вырванный замок, трогал разогнутые петли, прицокивал языком, присвистывал:

— Это ж какую силищу надо иметь злодею!..

Внимательно проинспектировал результаты медвежьего хулиганства. Сомневался насчёт второй шкуры, вероломно украденной:

— Как же это он, не понимаю, утянул-то её?

И подозрительно при этом поглядывал на Феофана. Того это возмущало.

— Не я же её съел, честное слово!

— Ну, я так не считаю, — мямлил Мищихин. — Я чисто технически не

могу понять: что, взял в охапку и по-нёс, так, что ли? Или на плечо закинул, интересно, чёрт...

Феофан терпеть Мищихина не мог, потому не спорил с ним, не обсуждал медвежьих возможностей. Только сказал:

— Если интересно, возьми да подежурь здесь ночью, он тебе покажет, как это делается.

Бригадира такая перспектива не прельстила. Он сразу засобирился, отдал распоряжение:

— Шкуры списать, на дверь приделать стягу.

Феофан стягу приделал, благо имелась в запасе. Она легла поперёк двери стальной лентой и закрыла её наглухо.

Так ему казалось.

Но на другое же утро стальная стяга валялась у дверей, вырванная с корнем, и похожа была на измятую ленточку от матросской бескозырки. Опять не хватало одной шкуры...

Мищихин изъяснялся на этот раз более категорично:

— Не-е, так это дело не пойдёт. Этот ушкуй нас из плана выбьет. Надо пристрелить заразу!

Феофан вспомнил свою одноствольную пукалку — старенький дробовичок двадцатого калибра — и усомнился.

— Вот сам и берись за такое дело, я лично — пас!

— Брось отнекиваться, Феофан Александрович, — отрезал бригадир, — дело общественное, вишь, что творит, змей, все границы перешёл.

А из меня, сам ты знаешь, какой стрелок, целюсь через приклад...

То, что Мищихин не охотник, — это понятно. Балаболка, одно слово. Но и он тоже ведь не Робин Гуд, чего уж там...

— У меня ружья нету, — возразил Феофан.

— В колхозе карабин имеется, «Лось», десятизарядный, и пуля у него девять миллиметров, блямба! Кого хошь завалит, хоть слона. Выпишем, Фаня, не дрейфь, — чтобы умаслить, Мищихин стал фамильярничать, старый лицемер.

— Дай кого-нибудь в подмогу, одному страшновато, — честно признался Феофан.

Мищихин обрадовался: «Уломал-таки!» — и наобещал гору:

— Выделим, Феофан Александрович, лучшего охотника выделим!

«Лучшим охотником» оказался Санька Турачкин, лысый тридцатилетний долговязый парень, крикливый и немного нервный. Суета и нервозность появились в Санькином характере после выхода в свет исторического постановления о борьбе с пьянством и алкоголизмом. В тот период он сильно пострадал и до сих пор тяжело переживал появление этого правительственного документа.

«Опять надул, балаболка», — с неприязнью подумал Феофан о Мищихине, потому что никаких охотничьих подвигов за Турачкиным не знал. Кроме, пожалуй, одного. Года два назад Санька выпросил в охотхозяйстве лицензию на лося и осенью

прямо за деревяней подстрелил... колхозного коня Пегаску.

Оправдывался потом: «В сумерках дело было, а тот стоит в кустах, и рога на ём будто...»

Дело было до выхода упомянутого постановления, и Саньке в тот период действительно такое могло помешаться. На этот раз Турачкин ворвался к Феофану под вечер и с порога заторопил:

— Пойдём, Фаня, жажнем твоего грабителя!

На плече у него висел карабин «Лось», десятизарядный и новый.

Феофан сидел перед телевизором в тапках и смотрел мультфильм по программе «Спокойной ночи, малыши!». На коленях у него стояла тёплая кастрюля со свежей ухой из пинагора — самолучшей ухой! Феофан хлебал уху прямо из кастрюли, протяжисто фыркал. Идти на хищника ему не хотелось.

— Вот сейчас всё брошу и пойду, — сказал он и стал фыркать ещё слаще, запричмокивал. Так он демонстрировал, что хлебать уху ему приятнее, чем идти на опасное и кровавое дело.

Турачкин, увидав такое безобразие и осознав, что его триумф может не состояться, взмолился:

— Пойдём, Фаня, а? Руководство поручило, надо сделать! А мне одному боязно, сам понимаешь.

Ясно, что не отвяжется «лучший охотник» после безвинно загубленного Пегаски. Саньке чрезвычайно необходимо было реабилитироваться

перед народом. Пинагорью уху Феофан так и не доел, не торопясь оделся, снял с гвоздя в кладовке «двадцатку» и пошёл с Санькой Турачкиным на медведя.

Они сделали засаду метрах в пятидесяти от сальницы в куще разлапистого верескового куста.

Легли прямо на ветки, поэтому хвоинки и сучки покусывали тело.

Ветер дул такой, какой надо, — вдоль берега, с севера, как раз оттуда должен подкрасться разбойный медведь. Так что их запах был для него недосыгаем. С юга ему не подойти — там деревня, с запада — пустырь — местный аэродром, с востока — море.

Один путь — с севера.

Разговаривали шёпотом.

— Во сколько придёт, как думаешь? — нервничал Турачкин и гладил рукавом ствол карабина — стряхивал прилипшие хвоинки.

— Ему виднее, у тебя не спросит, — Феофану разговаривать не хотелось, он зябко ёжился, да и жутковатая картина разворачивалась, чего там говорить...

Ветер позванивал вересковой хвоей. Стояла густая прохладная ночь середины августа, наполненная всевозможными звуками и запахами. Высоко-высоко в небе, под самыми звёздочками, пластался чёрный, весь в разрывах, дым. Звёздочки вымаргивались в этих разрывах и тут же снова окунались в тёмные клубы. Это летели с севера на юг низкие, холодные облака. Все кусты кругом казались лежащими на земле медведями.

— Интересно, он на рану силён или нет? — интересовался Санька и постукивал зубами. Потом предложил:

— Давай для точности глаза и руки, — он просунул ладонь в горловину рюкзака и достал из его недр флягу, отвинтил крышку.

В нос Феофану крепко ударил запах браги. Санька опрокинул флягу в рот и сделал несколько крупных глотков, передал Павловскому.

— Глотни для храбрости, не повредит. Сам делал, на чистых дрожжах, вкуснота — спасу нету... Эх, бражка-ми-и-лашка!..

После браги Турачкин замурлыкал потихонечку какой-то простенький мотив, потом протяжно рыгнул и вдруг захрапывал, уткнувшись лбом о приклад карабина.

«Охотничек, мать твою», — почти равнодушно подумал Феофан и стал глядеть на море, на верхушки волн, мерцающие звёздными искрами размеренно и тускло. Не заметил, как задремал сам. Его разбудил какой-то шорох. Открыв глаза, Феофан разглядел в малость просветлевшихся уже сумерках чёрный силуэт, медленно двигающийся по песку к сальнице. С той стороны доносилось тихое и мерное поскрипывание песка. Вот ты беда, медведь идёт! В висках ускоряющимися ударами застучала кровь. Феофан пристукнул локтем в Санькин бок.

— Медведь!

Тот со сна ойкнул, распахнул глаза, но врубился быстро, зашептал: «Где? Где?»

— Вон, балбесина, не видишь?

Турачкин увидел, засучил руками, стал выпрастывать ремень карабина, зацепившийся за ветку. При этом сильно вполголоса матюгался. Медведь, вероятно услышав посторонние звуки, остановился, прислушался. Санька меж тем приложился к прикладу, скомандовал шёпотом: «Раз, два, три!»

Феофан нажал курок, глаза ослепил огонь, и резко нахлынула тишина. Только по кустам что-то шуршало: шлёп-шлёп. Санька Турачкин, зверски ругаясь, вскочил и стоя начал лупить из карабина по кустам. Потом вдруг побежал туда, куда стрелял. Скоро вернулся, сел, понурый, рядом с Феофаном, закурил.

— Ты чего вместе со мной-то не выстрелил, собирался вроде? — спросил его Павловский.

На Турачкине не было лица, и весь он выглядел как побитый пёс: глаза потупленные, хвост прижат.

— Патрон в патронник забыл дослать, первый раз на медведя, волнение, только клёкнул — и всё. Надо же, а...

Феофан хохотал над Санькой долго, сидел на кокорине и хохотал. Турачкин спросил:

— А ты-то чего не попал, вроде ведь выцелил? Я смотрел, крови на следах нету.

— Так я же седьмым номером шмальнул, «пшёнкой». Какая может быть кровь?

— У тебя что, пули даже с собой нету?

— Не-а.

Надо бы и Саньке теперь посмеяться, да не до смеха ему, всё же крепко он опростоволосился. Самолучшее оружие доверили, честь, можно сказать, оказали... Надо же...

По дороге домой он сообщил, что медведь-то меченый — на левой передней ноге не хватает указательного пальца, беспальный медведь.

— То ли вырвал где, то ли с рождения так. Это бывает.

Ещё он просил Феофана не рассказывать никому про их приключение. А то засмеют ведь, кличку какую-нибудь приклеят, народ на язык острёр.

Всё же выстрелы в деревне слышали, и Мищихин допытывался: в кого стреляли, почему не попали? Ему объяснили, что стреляли на шум, — медведь, мол, ходил далеко в кустах, но ворчал, в его сторону и стреляли, чтоб отпугнуть от сальницы. Бригадир был доволен.

— Ну, теперь не подойдёт больше, напуганный...

Феофан считал так же. Через пару дней ударила «морянка» — сильный шторм, рыбаки выехали с тонь домой, зверя никто пока не сдавал, и он закрыл сальницу на замок, для пущего спокойствия приколотил поперёк двери два толстых горбыля, крест-накрест, как в войну это делали на военкоматах, когда все уходили на фронт.

Через день к нему домой прибежала Люда Петрова, телятница. Собира-ла она анфельцию на берегу и увиде-

ла такое...

— Разор там у тебя, — сообщила, — двери с корнем выдраны...

Ну, двери не двери, а горбыли и замок и в самом деле отодраны. Действительно, какая силища... В сальнице мишка набедокурил на этот раз шибче, чем раньше: изодрал три шкуры, раскидал хозяйство, а потом, зайдясь, видно, в разгульном кураже, опрокинул на пол тяжеленный чан со шкварками, весь пол оказался залит вонючим суслом. Прибежал Санька Турачкин, откуда-то узнал тоже про новое нападение. Сел рядом с Феофаном на бревно, поглядел на безобразие.

— Это он нам отомстил, падла, за испуг свой, — сделал заключение Санька. — Злопамятный, гад!

Он нашёл на песке самые чёткие следы, стал показывать:

— Видишь, вот левая передняя, вот пальца одного не хватает. Тот безобразничает, сучара, беспальный.

Действительно, судя по следам, когтей на лапе оказалось четыре, а не пять, как на остальных.

Прибыл и Мищихин, оценил обстановку, поматюгался:

— По миру нас пустит, так растак, на полтыщи уже убытку принёс, не меньше, это ж шутка сказать...

Потом отдал распоряжение Турачкину:

— Чтобы этот ваш одноглазый или, как там его, ушкой этот, был медленно отстрелян. Иначе деньги с тебя и Павловского высчитаю, как с бездельников.

И покинул сальницу, энергично бормоча что-то в смысле «трах-тах-тта-тта-тах». В общем, смысл был понятен.

— Раскомандовался, видали ево, — вяло возразил вслед ему Санька. — Сам ты одноглазый.

Посидели они, покурили, и Турачкин сказал:

— И в самом деле решать надо этого медведяру. Вопрос чести. Я тут пошевелю извилиной, покумекаю... — Прав ты насчёт извилины своей, — слегка подначил Феофан.

Через день под вечер они сидели в стоге сена на Кириллихиной пожне. Стратегическая задумка Саньки Турачкина заключалась в том, что пожня эта как раз на дороге Беспалого к сальнице. До неё отсюда — всего полкилометра, а дальше начинается чащоба, ельник. Где-то там медведь залегает на день, оттуда выходит ночью куролесить. Но главная мудрость была не в этом. Охотничья гениальность Саньки воплотилась в том, что метрах в сорока от стога бродил козёл по имени Валет, привязанный на верёвке. С другого конца верёвка крепилась за кол, воткнутый в землю. Валет являлся приманкой, он расхаживал вокруг кола, тряс острой козлиной бородёнкой и беспрестанно блял. На эту приманку и должен был клюнуть беспальный медведь и подпустить к себе охотников.

— Затвор-то на этот раз хоть передёрнул? — не без основания интересовался Феофан. — А то получится, как в прошлый раз. Санька болезнен-

но кривился. Вспоминать недавний позор не хотелось, переводил разговор:

— А сам-то пулю взял, опять «пшёнкой» лупанешь? Провинились они оба, чего там говорить. Время тело медленно. Санька ворочался на сене, несколько раз прикладывался опять к фляге, нервничал: — Вдруг козла тяпнуть успеет, пока застрелим? Мищихин штаны с нас тогда снимет. Турачкин скуксил худощавое лицо, стал с ядовитой интонацией передразнивать Мищихина:

— Валет-то производитель, — грит, — не чета вам, охломонам. От него, — грит, — один прибыток колхозу. Из других деревень, мол, коз к нему приводят. Сексуальный рекордсмен, — сказыват, — на вес золота козёл. Я, если что с Валетком нашим нехорошее случится, семь шкур с вас спущу и вместо него работать заставлю. Так сказал. Последняя фраза заинтересовала Феофана и он спросил: — Чего это он ввиду имеет?

— То и имеет, не понимаешь што ли? Феофан хохотнул, потом скривил лицо, сплюнул и замолчал.

Августовская ночь опускалась на землю плавно, с неохотой, принося с собой сыроватую зябкость, настоуженность, неуют.

Окружающие предметы теряли привычные формы, становились неузнаваемыми, похожими на странных больших зверей.

В ночном лесу в самом воздухе началось таинственное, жутковатое движение теней. То вдалеке, то где-то

рядом пронзительно вскрикивали ночные птицы.

Колхозное имущество — козёл Валет, не привыкший спать в ночном лесу, видно, побаивался этих звуков и теней и частенько громко взблеивал.

Турачкин от этих взблеиваний вздрагивал, но действия Валета одобрял:

— Валяй, козлятина, валяй, подманивай зверюгу.

Ветерок, потерявший в сумерках направление, кидался в разные стороны. Иногда он поддувал со стороны Валета, и Санька затыкал нос, плевался:

— Воняет, как от падали. Помылся бы хоть, что ли, гад такой. Как его козы выносят, да ещё любовь с ним крутят, с козлом с этим, детей от него рожают?

Ночь они отдежурили честно. По очереди накоротке вздремнули, но беспальный медведь так и не пришёл. Утром разом зазвенели, защибетали кругом птицы, на востоке солнце сначала раскидало во всю горизонтальную ширь густую малиновую зарю, а потом размыло её и вскинулось над верхушками окружавших пожню ёлок: белёсое, чистое, обещающее погожий день. Валет, подохрипший и уставший от ночных тревог, лёг на траву, подогнув ноги, закемарил.

— Во обнаглел, медведяра! — жаловался Санька. — Ему мясо предлагают свеженькое, душистое, а он выламывается!

Днём, к обеду, солнце нагнало жару, сидеть в сене без долгого движения стало невмоготу. Турачкин ёрзал, наконец взмолился:

— Пойдём, Фаня, перекусим, что ли? Какой сейчас медведь, посередке-то дня? Спит он сейчас где-нибудь на лёжке. Посветлу медведи не охотятся, это точно.

— А вдруг? — засомневался Феофан. Хотя валяться на солнцепёке и ему порядком надоело.

— Не-е! Говорю — значит, знаю. Ну что спорить со специалистом? Они сползли с зарода и направились на обед.

Вернулись часа через три, размявшиися, отдохнувшие, с запасом еды.

И Санька заорал:

— Где козёл, мать его за ногу? Где козлиная морда?

Валет действительно куда-то пропал вместе с верёвкой и даже колом. Турачкин горячился, бегал туда-сюда, искал Валетовы следы, чтобы хоть определить направление его побега.

Наконец нашёл и как стоял, так и сел прямо на траву. Снял с лысой головы кепку, шмякнул её в сердцах оземь.

— Иди сюда, — негромко сказал Феофану.

Тот подошёл. Среди вырванной травы чётко виднелся медвежий след с четырьмя когтями. Турачкин тихо, с присвистом, как бы про себя, заматюгался. Сидел он так несколько минут, шептал бессвязную ругань, покачивался, переживал потрясение. Феофан не знал что делать: то ли го-

ревать по козлу, то ли смеяться над Санькой и самим собой.

— Ты же сказал, что они не охотятся днём, ушкуи-то, — подначил он впавшего в прострацию Турачкина, переживающего очередной позор.

Тот даже не огрызнулся, совсем упал духом. Через какое-то время начал соображать.

— Сидел где-то тут за кустом, караулил, когда надоест нам. Дождался, змей... Вот Мищихин-то... теперь кураж устроит. Скажет, производителя медведю скормили за здорово живёшь... Козлы же мы, а...

Они нашли то, что искали, уже под вечер метрах в четырёхстах от Кириллихиной пожни, в густых ёлках, в кокорнике. Сначала наткнулся на верёвку Феофан, потом увидели козла, вернее, то, что от него осталось. Рога и копыта — в буквальном смысле.

Саньку Турачкина с тех пор зовут Медвежатником. К Феофану никакая кличка не пристала, потому что он состоял у Медвежатника на подхвате, подносчиком патронов, так сказать. Санька сдал обратно на склад карабин и сдался сам — отказался от медвежьей охоты.

А у Феофана случилась ещё встреча с Беспальым.

Однажды попался в юнды морской заяц, огромный лахтак-тюлень. Феофан освеживал его прямо в воде: попробуй такую тушу завалить в карбас! Да никогда в жизни, человек пять надо, не меньше. Одна шкура с салом килограммов сто весит. Но-

жом с краю шкуры он сделал прорез, привязал к ней капроновую верёвку с крепким якорем на другом конце и бросил якорь в залудье, ближе корги — каменной россыпи. Пусть поплавают шкура день-другой, потом он пойдёт на дорке в деревню и заберёт шкуру, отвезёт на сальницу.

После ужина, уже в сумерках, Феофан вышел к морю, сел на брёвнышко и закурил. На море во всю его ширь лежал отлив, матово отсвечивал длинный заплёсток, и торчали из воды камни.

Метрах в ста от него, у корги, кто-то бродил по мелкой воде и крепко ругался.

«Кто же это может быть? — предполагал Феофан. — Может, Толя Полотухин? Только что он запоздал-то так?»

Толя сидел на соседней тоне — Спасской, километрах в двух, и иногда навевался к нему, чтобы скрасить одиночество.

«Наверно, приехал на дорке, ткнулся в коргу, в мель, не может выбраться».

Толя кряхтел там, в темноте, ворчал, барахтался со своей доркой.

«Что ты, в первый раз? Мель эту не знаешь? В сухую воду решил протолкаться, вот дурёха», — так размышлял Феофан о Толе и покуривал.

Толя меж тем что-то ворчливо бормотал и всё приближался...

То, что это не Толя, Феофан разглядел слишком поздно и удрать не успел. К нему из воды брёл Беспальый, который тянул к берегу от корги стокилограммовую шкуру вместе с якорем.

Шкура и якорь здорово упирались, цеплялись за камни, и медведь крепко ворчал, недовольничал. Удирать было поздно. Беспалый вышел прямо к нему, нос к носу... В самом деле — большой, очень большой медведь.

— Толька! — крикнул Феофан, сильно струхнув. — Брось шкуру!

Они разбежались в разные стороны.

Но в сальницу Беспалый больше не полез. И не потому совсем, что образумился наконец или же оробел. В его отчаянной наглости и готовности совершить новое вероломство сомневаться не приходилось. Просто Феофан пошёл на хитрость — стал подкармливать медведя. Он попросил рыбаков привозить к сальнице не одни только шкуры, а целых нерп, неосвежёванных. У сальницы снимали теперь шкуры, и рауки — нерпичьи тушки — Феофан бросал в кусты за

сальницей. Каждое утро это место навещал. И почти всякий раз видел там остатки медвежьего пиршества и следы, следы... Следы Беспалого.

Так они и жили до сентября, и жизнь эта стала привычной. А в сентябре Феофан однажды увидел на песке рядом со следами Беспалого другой медвежий след, более мелкий и тонкий, — след медведицы. И услышал тёмной и тёплой ночью в лесу страстный и восторженный медвежий рёв. Так ревут влюблённые медведи. И больше никогда в жизни не видел он ни самого Беспалого, ни его следов. Увела его любовь в другие лесные дали.

И стало немного грустно. Будто от жизни оторвалась какая-то дорогая и важная частица, упала на дорогу и потерялась. И на том месте, где она оторвалась, образовались прохлада и пустота.